

Гарсон, кружку пива!.. Ги де Мопассан

Хосе Мария де Эредиа[1]

Почему в этот вечер я зашел в пивную? Сам не знаю. Было холодно. От мелкого, как водяная пыль, дождя газовые рожки, казалось, были окутаны прозрачной дымкой, а тротуары блестели, отражая витрины, бросавшие свет на жидкую грязь и забрызганные ноги прохожих.

Я бродил без всякой цели. Мне просто вздумалось немного погулять после обеда; я прошел мимо здания Лионского кредита, по улице Вивьен, еще по каким-то улицам. Вдруг я заметил большую пивную, где было не очень людно, и вошел без определенного намерения. Мне вовсе не хотелось пить.

Оглядевшись, я отыскал столик посвободнее и присел рядом с пожилым человеком, курившим дешевую глиняную, черную, как уголь, трубку. Шесть или семь стеклянных блюдцец, стоявших стопкой перед ним, указывали количество уже выпитых им кружек. Я не стал разглядывать своего соседа. Я сразу понял, что передо мною любитель пива, один из тех завсегдатаев, которые приходят с утра, когда пивную открывают, и уходят вечером, когда ее закрывают. Он был неопрятен, с плешью на темени; сальные, седеющие пряди волос падали на воротник сюртука. Слишком широкую одежду он, очевидно, сшил себе еще в те времена, когда у него было брюшко.

Чувствовалось, что брюки еле держатся и он не может сделать и десяти шагов без того, чтобы не подтянуть их — так плохо они были прилажены. Был ли на нем жилет? Одна мысль о его башмаках и о том, что они прикрывают, бросала меня в дрожь. Обтрепанные манжеты заканчивались черной каемкой, так же, как и его ногти.

Едва только я сел, мой сосед невозмутимо спросил меня:

— Как живешь?

Я резко повернулся и пристально на него взглянул.

Он снова спросил:

— Не узнаешь меня?

— Нет.

— Де Барре.

Я осталбенел. Это был граф Жан де Барре, мой старый товарищ по колледжу.

В замешательстве я протянул ему руку, не зная, что сказать. Наконец я пробормотал:

— А ты как живешь?

Он ответил все так же невозмутимо:

— Я? Живу, как умею.

Он умолк.

Я подыскивал какую-нибудь любезную фразу.

— Ну, а... что ты делаешь?

Он равнодушно ответил:

— Ты же видишь.

Я почувствовал, что краснею, и пояснил:

— Нет, обычно?

Пуская густые клубы дыма, он сказал:

— Каждый день одно и то же.

Затем, постучав по мраморной доске столика серебряной монетой, валявшейся тут же, крикнул:

— Гарсон, две кружки!

Голос вдалеке повторил: «Две кружки на четвертый!» И другой, еще дальше, отозвался: «Даю!» Потом появился официант в белом переднике; он нес две кружки, расплескивая на ходу пену, которая падала желтыми хлопьями на усыпанный песком пол.

Де Барре разом опорожнил кружку и поставил ее на стол, обсосав пену с усов. Затем он спросил:

— Ну, а у тебя что нового?

Я, право, не знал, что сказать, и пробормотал:

— Да ничего, дружище. Я стал коммерсантом...

Он произнес все тем же безразличным голосом:

— И это... тебе по вкусу?

— Нет, не могу сказать. Но надо же что-нибудь делать.

— А зачем?

— Да так... Надо же иметь занятие.

— А для чего это, собственно, надо? Вот я ничего не делаю, как видишь, совсем ничего. Я понимаю, что нужно работать, когда нет ни гроша. Но если человека есть средства, это ни к чему... Зачем работать? Ты что же, работаешь для себя или для других? Если для себя, значит, тебе это нравится, тогда все великолепно; но если ты стараешься для других — это просто глупо.

Положив свою трубку на мраморную доску, он снова крикнул:

— Гарсон, кружку пива! — И продолжал: — Разговор вызывает у меня жажду. Отвык. Да, вот я ничего не делаю, на все махнул рукой, старею. Перед смертью я ни о чем не буду жалеть. У меня не будет других воспоминаний, кроме этой пивной. Ни жены, ни детей, ни забот, ни горчений — ничего. Так лучше.

Он осушил кружку, которую ему принесли, провел языком по губам и снова взялся за трубку.

Я смотрел на него с изумлением, потом спросил:

— Но ты ведь не всегда был таким?

— Нет, извини, всегда, с самого колледжа.

— Да это же не жизнь, голубчик. Это ужас. Сознайся: хоть что-нибудь ты делаешь, любишь хоть что-нибудь? Есть у тебя друзья?

— Нет. Я встаю в полдень, прихожу сюда, завтракаю, пью пиво, сижу до вечера, обедаю, пью пиво; в половине второго ночи возвращаюсь домой, потому что пивную закрывают. Вот это самое неприятное. Из последних десяти лет не меньше шести я провел на этом диванчике в углу. А остальное время — в своей кровати, больше нигде. Изредка я беседую с завсегдатаями пивной.

— Но что ты делал вначале, когда приехал в Париж?

— Изучал право... в кафе Медичи.

— Ну, а затем?

— Затем перебрался на эту сторону Сены и обосновался здесь.

— А чего ради ты перекочевал сюда?

— Нельзя же в самом деле прожить всю жизнь в Латинском квартале. Студенты слишком шумный народ. Теперь я уж больше никуда не двинусь. Гарсон, кружку пива!

Я решил, что он смеется надо мной, и продолжал допытываться:

— Ну скажи откровенно: ты перенес какое-нибудь горе, может быть, несчастную любовь? Право же, у тебя вид человека, убитого горем. Сколько тебе лет?

— Тридцать три. А на вид не меньше сорока пяти.

Я внимательно посмотрел на него. Морщинистое, помятое лицо его казалось почти старческим. На темени сквозь редкие длинные волосы просвечивала кожа сомнительной чистоты. У него были косматые брови, длинные усы и густая борода. Внезапно, не знаю почему, мне представилось, какая грязная вода была бы в тазу, если бы промыть в нем всю эту щетину.

Я сказал:

— Да, верно, ты на вид старше своих лет. Несомненно, у тебя было какое-то горе.

Он ответил:

— Уверяю тебя, никакого. Я постарел оттого, что никогда не бываю на воздухе. Ничто не подтачивает так человека, как постоянное сидение в кафе.

Я никак не мог ему поверить.

— Тогда ты, должно быть, покупил порядком? Нельзя же так облысеть, не отдав обильную дань любви.

Он спокойно покачал головой, и при этом с его редких волос на плечи посыпалось множество белых чешуек перхоти.

— Нет, я всегда был благоразумен.

И, подняв лицо к рожку, гревшему нам головы, добавил:

— Я облысел только от газа. Он злейший враг волос... Гарсон, кружку пива! А ты не выпьешь?

— Нет, спасибо. Но, право, ты меня поражаешь. С каких пор ты впал в такое уныние? Ведь это ненормально, противоестественно. Должна же быть какая-нибудь особая причина?

— Да, пожалуй. Толчок был дан в детстве. Я перенес сильное потрясение, когда был еще ребенком. И это навсегда омрачило мою жизнь.

— Что же это было?

— Хочешь знать? Изволь. Ты, должно быть, хорошо помнишь поместье, где я вырос. Ведь ты приезжал ко мне раз пять на каникулах. Помнишь наш большой серый дом, огромный парк вокруг него и длинные, расходящиеся веером дубовые аллеи? Наверно, ты помнишь и моих родителей — они были такие церемонные, важные и строгие.

Я боготворил свою мать, побаивался отца и почитал их обоих; к тому же я видел, как люди гнут перед ними спину. Для всей округи они были «их сиятельствами»; да и соседи, Танмары, Равеле и Бренвилли, относились к ним с глубоким уважением.

Мне было тогда тринадцать лет. Я был весел, доволен всем, жизнерадостен, как и полагается в этом возрасте.

Однажды в конце сентября, за несколько дней до возвращения в колледж, я играл в волка и прыгал среди деревьев в чащे парка; пробегая аллею, я заметил моих родителей — они прогуливались по парку.

Я помню все так ясно, точно это было вчера. День выдался очень ветреный. При каждом порыве ветра стройные ряды деревьев гнулись, скрипели и стонали — глухо, протяжно, как стонет лес во время бури. Сорванные листья, уже пожелтевшие, взлетали, точно птицы, кружились, падали и неслись по аллеям, как проворные зверьки.

Надвигался вечер. В чащे было уже темно. Ветер бушевал в ветвях, возбуждал, будоражил меня, и я скакал, как бешеный, и отчаянно выл, подражая волку.

Увидев родителей, я начал тихонько подкрадываться к ним, прячась за деревьями, как настоящий лесной бродяга.

Но в нескольких шагах от них я остановился в испуге. Мой отец, вне себя от ярости, злобно кричал:

— Твоя мать — просто дура; не в твоей матери дело, а в тебе! Мне нужны эти деньги, я требую, чтобы ты подписала!

Мама ответила твердо:

— Нет, не подпишу. Это деньги Жана. Я не допущу, чтобы ты промотал их с девками и горничными. Довольно и того, что ты растратил на них свое собственное состояние.

Тогда отец, дрожа от бешенства, повернулся и, схватив мать одной рукой за горло, другой начал бить ее из всех сил по лицу.

Мамина шляпа свалилась, волосы в беспорядке рассыпались; она пыталась заслониться от ударов, но это ей не удавалось. А отец, как сумасшедший, все бил и бил ее. Она упала на землю, защищая лицо обеими руками. Тогда он повалил ее на спину и продолжал бить, стараясь отвести ее руки, чтобы удары приходились по лицу.

А я... мне казалось, мой дорогой, что наступил конец света и все незыблемые основы бытия пошатнулись. Я был потрясен, как бывает потрясен человек перед лицом сверхъестественных явлений, страшных катастроф, непоправимых бедствий. Мой детский ум мутился. И я, не помня себя, начал пронзительно кричать от страха, боли, невыразимого смятения. Отец, услышав мои крики, обернулся, увидел меня и, поднявшись с земли, шагнул ко мне. Я подумал, что он хочет убить меня, и, точно затравленный зверь, бросился бежать, не разбирая дороги, напрямик, в чащу леса.

Я бежал час, может быть, два — не знаю. Наступила ночь; я упал на траву, оглушенный, измученный страхом и тяжким горем, способным навсегда сокрушить хрупкое детское сердце. Мне было холодно; я, вероятно, был голоден. Настало утро. Я не решался встать, идти, вернуться или бежать куда-нибудь дальше, я боялся встретиться с отцом, которого не хотел больше видеть. Пожалуй, я так и умер бы под деревом от отчаяния и голода, если бы меня не заметил лесник и не отвел силой домой.

Я нашел родителей такими же, как всегда. Мать только сказала: «Как ты напугал меня, гадкий мальчик, я не спала всю ночь». Я ничего не ответил и заплакал. Отец не произнес ни слова.

Неделю спустя я уехал в колледж.

И вот, милый друг, все было кончено для меня. Я увидел обратную сторону жизни, ее изнанку; и с того дня лучшая ее сторона перестала для меня существовать. Что произошло в моей душе? Какая сила опрокинула все мои представления? Не знаю. Но с тех пор я потерял вкус к жизни, я ничего не хочу, никого не люблю, ни к чему не стремлюсь, и нет у меня ни желаний, ни честолюбия, ни надежд. Я все вспоминаю мою бедную маму на земле, посреди аллеи, и отца, осыпающего ее ударами... Мама умерла через несколько лет. Отец еще

жив. Но с тех пор я его не видел... Гарсон, кружку пива!

Ему принесли кружку. Он выпил ее залпом. Потом взял трубку, но руки у него так сильно дрожали, что он сломал ее. С досадой махнув рукой, он воскликнул:

— Ну что вы скажете! Вот это настоящая беда! Теперь понадобится целый месяц, чтобы обкурить новую трубку.

И по всему большому залу, теперь уже наполненному дымом и посетителями, пронесся его неизменный возглас:

— Гарсон, кружку пива!.. И новую трубку!

Примечания

1 Хосе Мария де Эредиа (1842—1906) — французский поэт.